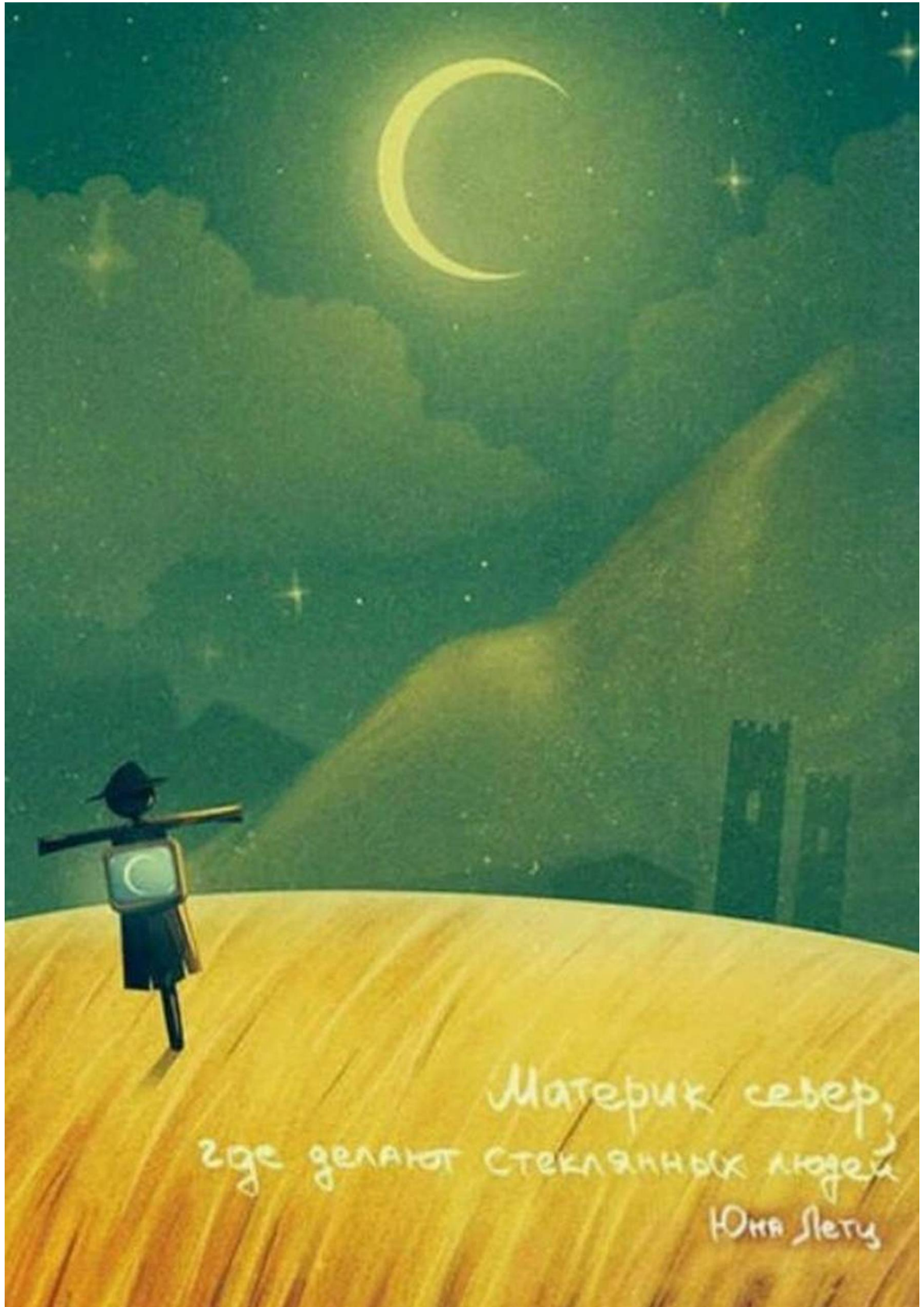




Материк север,
здесь делают стеклянных людей
Юлия Селу

Юна Летц

**Материк север, где
делают стеклянных людей**

«Автор»

2026

Юна Летц

Материк север, где делают стеклянных людей / Юна Летц —
«Автор», 2026

Белые сказки, рок-ферма, тонны осязания и лес, наполненный полуготовым мифическим веществом. Добро пожаловать в место, где невидимые существа совершают невидимые действия, которые помогают выдержать глубину мира. Но так ли невидимы эти существа речи?..

© Юна Летц, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Материк север, где делают стеклянных людей	5
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Юна Летц

Материк север, где делают стеклянных людей

Материк север, где делают стеклянных людей

Он стоит перед окном и слушает воздух. На камне сидит птица. Она смотрит куда-то в сторону моря, где огромный корабль тянет за собой кожицу воды и домики такие маленькие по сравнению с этой искусственной морщиной. Гилберт отворяет задвижку и спускается вниз. Это отель, в котором можно выходить из окна. Он сидит, опираясь спиной о траву, и смотрит, как туман забирается в открытые лица домов. Вскоре город исчезает, а вместо него остаётся дым, белый пронзительный дым, от которого Гилберту хочется рыдать. Он открывает рот и издаёт звук, похожий на растительную отрыжку. Слёзы никак не текут. Они мгновенно испаряются, даже не выходя из глаз; может быть, туман – это и есть чей-то неспешный испаряющийся плач?

Боль испарится, страдание испарится, а что если и весь человек... Он ищет над своей головой. Какой-то испаритель, провода атмосферных машин, он ищет где-то над головой, а там – полушария птиц, и птицы летают, разбрасывая себя выкриками и собирая себя выкриками. Он знает, что никогда не сможет этого позабыть, и белое плотное воспоминание формируется в его памяти: когда он решил исчезнуть, приехав на крошечный материк, не отмеченный на множестве карт. Когда он решил испариться, и может быть, приборы никакие и не нужны.

Гилберт поглаживает созерцательных овец, встаёт и движется, раскинув руки, как человеческий самолёт. Он видит перед собой белую тучу, и это туча, которая копит пустоту, сжимает её в некую видимость и заменяет этим данные объекты. И Гилберт представляет, как украденные объекты работают самими собой в какой-нибудь соседней реальности: рыбы работают рыбами, овцы работают овцами, появляются города, и люди ахают: *города же не было*, но, может быть, никто не удивлён, и всё воспринимают как есть.

Туча, в которой обрывается смысл северной красоты. Вот бы ему оборваться вместе с ним... Гилберт идёт в глубину тумана. Он должен исчезнуть. Он должен исчезнуть. Ради всех тех людей, которые никогда его не знали, которые не были здесь, ради будущего, он должен...

Кажется, туман отзывается на это намерение.

– Хочешь, я буду любить тебя? – спрашивает Гилберт.

– Да, – отвечает он сам себе. – Я буду любить тебя. Я буду всегда тебя замечать. Только ответь, что это за слово, которое застряло в моей голове? *Бреннур, бреннур* – откуда это слово? Что оно может обозначать? Я узнаю, и ты заберешь меня. Но только когда я узнаю...

Так он говорит, и кажется, новые силы. Море умирает, и туман – это душа, которая отлетает каждый раз, когда умирает море. Он стоит в глубине этой души, и странное желание: ему хочется пить, прямо из души, или пить эту душу, и он втягивает в себя туман через рот, он нюхает его, крутит по руке. Ему кажется, что он почувствовал значение тайного слова, ему кажется, что кто-то сказал, и теперь он готов. Теперь он готов.

Раскручивается и шепчет: *покончи со мной, сделай это, давай*. Ему неописуемо весело. Он хочет испариться и встал в середине тумана, который должен его поглотить. Губы хихикают. Руки изображают самолёт. Что-нибудь сейчас произойдёт. Гилберт выпускает шаги и движется по взлётной полосе в сторону погибшего моря, руки продолжают взлетать, губы съедают улыбку, человек разбегается и входит головой в самую смерть. Раздается оглушительный звон, и Гилберт смеётся: *вот я разбился, вот я разбился. А вот и я*.

* * *

Это был именно материк. Где-то существовали духовные пространства, но это был именно материк. Жители осваивали какое-нибудь ремесло и развивали его в течение жизни; тут было множество рыбаков, пастухи, вязальщицы, работники упаковочных предприятий, специалисты по леске, и можно было обнюхивать их в поисках загнивших рутин, но запах не шёл: люди любили свои жизни и эти гербы повседневности, они носили их – каждый на своём доме, вывешивали как гордость. Это не то, что на некоторых островах: люди производили центр, а на окраине лежали тонны убитого труда – здесь было всё равномерно. Люди работали и жили свою жизнь, такого вопроса не возникало: как я могу жить свою жизнь? Как это мне осуществить? Люди просто умели и всё.

Здесь был бессменный туман. Туман, как мысль о тумане, воздух, вязанный из небесной шерсти, и повсюду лежала эта овечность, вечность, люди, которые не желали кичиться, домашние вечера с каминами и фонарём. Материк – это было открытое, укрытое, тишина океана, контуры скал, и можно было обводить случайными птицами, бегло рифмующими побережье сиплыми голосами, – птицы, установленные на вершинах горы с изнаночной стороны утёсов, и любопытные овцы на публичных холмах, торчащие мехом по камням, – руно и еда. Говорили, что овец здесь больше, чем людей, и это были необычные овцы: каждое утро специально обученные люди развешивали их по горам, и животные созерцали в течение дня, вбирали глазами пейзажи, выращивая на себе мясо созерцательных овец, которое импортировали по высокой цене, и этим материк жил: развешиванием овец и созерцанием, которое входило в самую плоть.

Люди, которые развешивали овец по горам, с самого малого возраста учились оперному пению, в итоге каждый из них становился как певец-скалолаз. Утро жителей материка начиналось с красивого пения, которое доносилось с холмов: подвешивая овец, скалолазы пронзительно пели, и это делало их работу осмысленной. Всё старалось скопить в себе смысл: люди и овцы, горы и небо, и столько образовалось пейзажа – целый материк, и открытое время, невысмотренные дали, совершенно живые, растущие из чьего-то расширенного зрачка. Столько бесконечности на одного человека, но люди не давились, они жили из неё.

Небо, овца и красота – это то, что составляло национальную гордость. И всякие спицы – шерстяной вымысел. Красивые свитера – домашняя вязка, тёплые шали и накидка из тумана, одетая на каждого прохожего, и они наматывали её на головы и на плечи, носили туман как отличительный знак, а по туману носились овцы. Овцы, которые возили пейзаж на спине, люди, которые возили благодать, и в каждом разговоре присутствовало это отличие: материковые истории и длинные хороводы патриотизма, вплетённые в праздники, – хождение за руки под распевание древнейших слов.

Зиматы – это то, как они называли себя. Взятые из старотуманных саг, они находили себя особыми, и вот где они находили себя: под травяными крышами жилищ среди мимических пейзажей севера. Там, где покачивались на ветру библии домов, стояли деревянные маяки

вместо деревьев, там, где женщины гадали по делам, забрасывая их в мешок головы, хлеб-кормы пропекали свои улыбки, гремя позвоночниками, – живые существа с радостью несли себя в новые дни.

Люди гадали по делам и гадали на судьбу: пятнышки на ногтях символизировали появление норн, как будто норны прошли и можно теперь толковать. Как жидкости были наполнены мельчайшими видами жизни, так и пространства были снабжены различными существами, которые спускались на органы чувств как малые клубки интуиций. Нечисть не была воздушным существом, но иногда и она возникала как нечистая совесть, и если кто-нибудь из людей делал что-то не так, на помощь приходил материк, и люди смотрели на себя со стороны – через большую материю, на которой сияли зеркала ангелов, и всегда можно определить, когда это были ангелы, а когда это была нечисть. И быдень, который старались разогнать, – говорили туда: *быдень-узколоб*, и делали небольшой выворот рукой, словно праздничный фонарик закручивали, и нечисть как бы переворачивалась другой стороной, а там – этот ангел (агент). Всё, что их волновало, – это защита от духовной опасности, и собственных имён большие границы носили, только чтобы уберечься от зла.

Впрочем, многие подпускали к себе способы мистической новизны: к примеру, падали в океан по делу создания новой традиции или смотрели на небо с такой силой, что вызывали красные и синие метеоритные дожди. По выходным жители материка отправлялись в светящиеся мазанки, где можно было найти гигантский вечер с размытыми краями, в который забредали пшеничники – здоровые упитанные видения, довольные жизнью, и с ними весело было петь. Тут же стояло огромное дно. Когда сила останавливалась, люди подходили к этому дну и бились об него железными головами, пока не наступала ясность, и тогда они возвращались в свои жилища, прислонялись лицами к выемкам на портретах предков и стояли так – праздничные, счастливые люди.

Кажется, что все деревни были похожи между собой: яркие цвета деревянных домов на фоне каменных глыб, футбольное поле у воды, небольшая церковь белого или красного цветов, дома скученные – сбережение тепла. Все деревни были похожи между собой, но каждая имела редкое своеобразие: к примеру, в одной из деревень встречалось некоторое подобие зверей, и люди ходили в лес, чтобы избежать нападения зверей. В основном, это были лисы особого песочного цвета куку, и они говорили им: «лисы, куку!» и прятались за кустом. Такая это была странная деревня, а рядом с ней остров – тематическое поселение с изобилием птиц, где люди садились среди туманов и чокались яйцами глупышей, но только по особым дням, во все остальные времена они ходили медленно, как волшебники, ходили так, чтобы не потревожить птичьего короля (птичьего дела).

Люди на материке так прочно внедрялись в свои жизни, так крепко врастали в свои тела, что доживали до самых укуснительных лет. Медицина была сцеплена с жизненным поведением: если человек был благороден и добр, страхи у него возникали нечасто, значит, он почти не болел – так, иногда случались мелкие происшествя. Для их разрешений стояли медицинские башни, высокие крепежи. На нижних этажах принимали врачи, а сверху размещались наблюдатели, особые мастера, улавливающие мельчайшие изменения среды, и если, например, опадал скалолаз, то тут же посылался сигнал, и выезжала бригада врачей. Башни – это были дома для больших мастеров, и это мастерство нельзя было нарастить иначе, чем восседая на возвышении лет, уткнувшись в распростёртую даль, и каждый из них был держатель спокойствия.

Северные жители надёжно ощущали своё единение. Тут было отдельное правительство для культуры и отдельное правительство для хозяйственных сфер – люди, которых выбирали специалисты из названных отраслей, а общим голосованием зиматы определяли синоптика, и он считался главным человеком на материке. Некоторые приходили в синоптики из башенных областей, но это – случайное меньшинство, чаще всего синоптизм развивался с младенческих лет, а к юности дарования уже свободно предсказывали дождь, и некоторым удавалось ухватить с самой высоты, к примеру, градину или воздушную слабину. *Вы услышите, как будет расплакивать себя снег* – так они говорили; как удавалось им выражать через притчи и с помощью небесных поэм, и это то, что собирало большое количество вер, как только становилось понятно, что это истинный прогнозист говорит, а не случайный мечтатель.

И дальше он найдёт своё место на разворотах центральных газет, где будет публиковать регулярный прогноз, и *снег будет рыдать*, и снег, который позовёт их выйти из своих домов, чтобы посмотреть на снег, а некоторые отправятся прямоком в океан, и *снег будет рыдать*, и снег, который они станут наблюдать через огромные глаза пелагических рыб. Тот снег, что делает их душу сильнее, и небо сцепит материк появлением снега, и белые шарфы – это правильные прогнозы синоптика.

Погода – это то, что не смогли расшатать, и, как бы её ни расстреливали из бензиновых луж, погода оставалась за чертой, и каждый прогнозист говорил с применением утверждающих слов, чтобы упрочить эту погодную цитадель. Обычные прогнозы превращались в критические статьи и политические эссе – так складывалась определённая философия жизни, которую синоптик хотел донести, и не было случая, чтобы его уводили досрочно – каждый из этих мудрецов «забирал» себя сам, но только когда доходил до предела в своей деятельности по улучшению мира.

Выборы синоптика – это был высокий и феерический день, когда зиматы брали большие эпитеты в рот и шли подавать голоса за главного человека на материке, и их нельзя было как-нибудь обмануть, ведь множество лет они жили прогнозами из газет, и главный PROVIDEC всегда был замечен среди других – не было труда выбрать.

И пусть было холодно, пусть разбивались дожди и поднимались туманы – вряд ли хоть кто-то из них пошёл бы на войну за свержение пасмурных дней. Только хорошо промёрзшие люди могли понимать настоящее тепло. Погода – это хороший бог, и видно, что плохо и что хорошо, а именно – всё хорошо. И целая партия – погодники, хранившие контекст национальных идей, и то, что они хранили от перемен, – это сам север. Погоду хранили от перемен, и на гербах у них фабрики по производству туманов и дождей – такие они вводили обозначения, и не было повода отказывать им в толковании схем: где небо как дело, погода – завод, там делается само бытие, и каждый зимат принимал в этом творении непосредственное участие.

Где люди производили бытие, производили погоду, производили людей. Детство ценилось тут очень высоко. В школах применяли простейший аппарат кары: чтобы учить детей жизни, им демонстрировали рой – стеклянный ящик, где жили страшные северные муравьи с зелёными лицами, и надо было проверять их на мир – устраивать различные ситуации и наблюдать, как они будут себя вести, – муравьи, создающие рой. Но, в общем-то, детей старались не торопить, и многие были ужасно озорны: чуть что – приносили какой-нибудь подвох, и всякий дом как маленький питомник подвохов – шагу нельзя было ступить, чтобы не выпасть из переделки рутин, и всем было весело, и никто не хотел возражать.

Конечно, не все были розовые, с гладкими волосами, довольные миром. К примеру, на холме проживал работящий, но злобный зимат, он же мыльник, который ненавидел людей, и многие приходили, чтобы получить аргумент, но он давал им намыльные шарики: весь мир был устроен из скользких людей – так ему казалось, именно потому он и стал мыловаром, чтобы дойти в этой теории до конца. Мыльники презирали слизняков, а мельники ненавидели мыльников, точнее – ненавидели бред и никогда не брались за то, чтобы молоть откровенную чушь: там, где появлялись хитрецы, там же был готов и урок.

Злыдней тут почти не водилось. Лишь иногда проносились случайные срывы: к примеру, во время огромной грозы, когда холод оказывался на виду, и ветер бывал такой силы, что птицы катались по земле. В эти времена считалось нормальным немного позлиться, и можно было увидеть у пастухов несвойственные им срывы неистового понукания овец: *пасись, ну давай же, пасись, ты пасёшься недостаточно сильно*. Но в целом, можно заметить, что злыдни не жили на этой земле – просто не приживались как способ отношения к жизни.

Это был материк для зимат, но были тут и туристы – приезжие лица. Время от времени прибывал диковатый автобус, и люди-фотографы с толстым оптическим рюкзаком, и белые-белые дипломанты пенсионных реформ – любым были рады гостям. Над порогами развешивали туристические песенки, и если кто-нибудь заходил, продавец начинал запевать. Шерстяные умельцы валяли овец и дураков, наполняющих сувенирные лавки, чаще всего расположенные на территории почт, где также можно было купить национальный конверт и легендарные марки, каждая из которых была нарисована от руки, и все они составляли гордость материка и его летопись.

Как вода давала себя водой, как цветы давали себя красивыми, как птицы давали себя через пение, так зиматы являли себя в полноте этой способности жить, и бесконечные дали, как широта грандиозной души, как специальное зрение, душа – это зрение, и овцы как гирлянды на манер облаков, и синие города, и вечность, овечность – материк.

* * *

Виргус родился в местечке Клёйв. Когда он только родился, соседи думали, что это один из детей, не попавших в человека: не каждому ребенку был выделен человек – так они объясняли, но потом немножечко улеглось. Мама воспитывала его одна, и иногда она говорила, что ребёнок – это такая машина, которой управляют из разных сознаний, а у тех, кто делает это в одиночку, случается перегрузка, и остается этот рубец, который заметен в мыслях у одиноких матерей. Она говорила много такого, что удивляло других людей, но потом она перестала говорить – в какой-то момент она стала мягкой, как будто бы жидкой, и влилась в общие разговоры, но все эти тяжелоумные слова отразились в нём внутренним грузом, и он держал его, как ребёнок умеет держать, а на другое сил не осталось. Может быть, поэтому он чувствовал себя слабым с самого детства.

Он был ужасно слабым. Сил не хватало даже на то, чтобы ходить, и его носили на руках, даже в школу носили – соседи, в основном, и некоторые дети смеялись, но потом он начал двигаться сам, перепрыгивал, держась за углы, и постепенно это тоже улеглось. Он стал похож на обычных детей, и только где-то глубоко внутри оставалось это ощущение мышечной слабости и многие попытки укрепить: ему хотелось иметь такой стержень с прозрачными чернилами из слюны, стеклянный внутренний стержень, и чтобы каждая мысль выходила прозрачной и твёрдой, каждая мысль.

Это было время, когда он впервые начал интересоваться стеклом, как дети интересуются войнами, так Виргус интересовался стеклом, он любил играть с окнами, а ещё разбивал какой-нибудь предмет и делал из этих осколков выпуклые картины, он сжимал шаровые игрушки и смотрел на эти брызги загадочной пыли, но руки оставались порезанными, и вскоре ему перестали разрешать. С большим нетерпением он ждал, когда же наступят стеклянные праздники, северные дни. И это было лучшее событие в году – столько стекла вокруг! Виргус трогал и разглядывал каждый предмет, исполненный талантами призванных мастеров, смотрел на стеклянные парки, сосал волшебные леденцы, ехал на прозрачных санях, и всё это захватывало его, но вряд ли он мог предсказать уже тогда, что будет одним из тех мастеров, что выдувают из чистого воздуха.

В школе было мало новостей и больше гадостей, разве что он полюбил читать и даже устроился помогать водителю автобуса, который развозил книги по цепи библиотек, и Виргус приходил, если надо было что-нибудь погрузить или помочь с сортировкой. Вместе они посетили множество городов и деревень, и мальчик постоянно читал, он всё время читал, но потом ему вдруг разонравилось ни с того ни с сего: выдуманные миры стали теперь не нужны: он видел материк, теперь он увидел его – как ответ, и он принял его в качестве истины.

Став взрослым, он всё ещё чувствовал себя несколько рыхлым. В нём не было лёгких – он думал, в нём не было лёгких, и он заглатывал воздух поверхностью кожи, но это было непросто – вдыхать воздух порами, и это было непросто: он втягивал с силой, но где-то примешивался страх, и это был страх, что у него лёгкие заросли, и возле носа тупик, – и это место, где зиждется страх. Виргус не любил всякий страх: страх – это было что-то глухое, закрытое, а он любил воздух, открытость, стекло. Виргус любил стекло.

Он жил в небольшой мастерской у подножья горы. Он часто садился у горла горы и видел тончайшую лаву стекла, он видел, что мир постепенно становится тонким: даже соль, даже туман – это мелкие брызги стекла. Виргус сидел на кусочке горы и рассматривал тонкие прозрачные состояния: как капля дождя восходила цветком земляного дождя, и появлялись невидимые существа, от которых тянулся такой ветерок, как стеклянные мысли горы. И всё, что жило тут, огромные мысли океана, спокойные мысли травы – ему нравилась эта волшебная материковая простота, и он хотел бы остаться здесь навсегда.

Работа, которая была у него, давала ощущение повседневного счастья, и всё, что он хотел, было охвачено ей – и вечность, и стеклянные дни: Виргус делал хорины для мёртвых людей.

Он делал хорины, и тут надо бы объяснить. Когда-то давно здесь возникла идея: а что если мир сохранить, не давать его смерти, не давать его угнетению – и зиматы решили внедрить: оставить тут всё, что когда-либо зародилось на материке. Людей, и животных, и вещи. И даже людей. Всех захотели оставить на этой земле, и чтобы никто не ушёл. Тогда они стали подкладывать точные деревянные копии яиц – вместо тех, что забрали у птичьего острова. Каждому этот обычай пришёлся по душе, только вот древесина была изрядным образом дорога, поэтому стали изготавливать из стекла. Подкладывали копии убитых существ – стеклянных овец ставили по горам, а вскоре кто-то из мастеров выдул первый хорин – фигуру погибшего человека, и получилось так живо и так хорошо, что с тех самых пор зиматы «оставляли» хоринами всех, кто оказывался мёртв.

Жители говорили, что никто больше не умирал, что все сохранялись в стекле, и каждый обретал стабильные стеклянные формы, попадая в хорин. И как это можно было приблизительно описать: хорин – это статуя в человеческий рост, лицо немного затемнено, и где-то под рёбрами небольшая стеклянная грань – это полка для писем, написанных в течение жизни. Подгрудный отдел как почтовый отдел, и спереди угаданное отверстие для письма. Умерев, человек больше не мог отослать себе письменное сообщение, но он мог его получить: если кому-то из близких хотелось с ним как-нибудь посоветоваться, они кидали письмо прямо в хорин, а ответ приходил с помощью знаков. Надо было лишь внимательно наблюдать.

Когда-то Виргус начинал как помощник у опытных мастеров, а теперь он принимал заказы и сам, и очень ему нравилось вносить различные дополнения: к примеру, он добавил в голову маленький огонёк, красивый светильник, как появление ангела, и вскоре это нововведение прижилось. Хорины стали делаться с ангелом в голове: когда эта лампа горела, как будто бы ангел летал. И Виргусу начали доверять, и он продолжал бережливо исследовать каждую угасшую жизнь, и словно готовил для неё стеклянное продолжение. Всякая слабость отходила, пока он готовил хорин. Мастер познал своё дело, он спасся, сберёгся, нострел, и даже не стал инвалидом мечты – он жил в самом центре мечты – и снова, и снова он воплощал её в жизнь: стоило ему только коснуться руками живого стекла.

* * *

Материк не затронула волна изменения мира, но рябь всё же пошла, и некоторые перемены спустились как чёрные мауки: когда поплелись виртуальные сети, многие начали терять, и то, что они теряли, – это связь с самими собой. Надо было что-нибудь предпринять, и вскоре на окраине одного из городов появилось специальное почтовое отделение: это было такое отделение, которое *связывало людей с самими собой*, и они начали писать себе письма, слать телеграммы, а ещё там можно было позвонить – через пруд.

Почты находились в полукруглых домах с травяными участками крыш и низкими палисадниками мха. Внутри качались деревянные кресла, горели камины, лежала бумага и простые карандаши, так что некоторые садились, чтобы писать у огня, а другие приносили уже исписанные бумажные листы, укладывали их в толстый коричневый конверт с нарисованной маркой и совали в темноту биографического ящика, содержимое которого добросовестно сортировалось, и письма уходили в «хранилища жизней», где у каждого зимата был свой персональный отсек.

Кто-то говорил, что человек может потерять самого себя, и потому они стали писать себе письма, делая интерпретации состояний, и это то, как каждый зимат мог удерживать своё существо, и это то, как все зиматы берегли историческую достоверность: в день, когда человек умирал, названные чтецы изучали его письменный архив, и составлялась подробная выжимка, то, что называли «приданое». Главный образец отправлялся в стеклянный хорин вкупе со всей перепиской, а копия его уходила в исторические лаборатории, и можно было утвердительно говорить, что каждый житель материка принимал непосредственное участие в производстве исторической истины, и все они чувствовали себя расположенными в истории как в некоем пространстве, сцепленном общим усилием.

Почта развивалась как почтовые этажи, как почтовые голуби, но голуби не проживали на материке, и – новые способы передач. Некоторые отправляли себе письма из далёких городов, и чтобы эти письма удобнее было перевозить, запустили почтовую машину (передвинутых

почт), и кто-то говорил, что это целый социальный институт. Кому она только ни помогла – всем она помогла: люди отправляли события и мечты, пространства, запечатанные открытками в города, кусочки жизней не забыл прикрепить, а кто-то переслал воздушный поцелуй, и потом как понеслось: целую кабинку понадобилось выделять, а там – с каждой стороны романтическая стена, и можно было оставить на стене поцелуй, который как бы замораживался в стекле, и чтобы его получить, надо было дотронуться губами до этого места.

Машина была до того велика, что некоторым удавалось отослать полноценный спектакль, и это нередко практиковали по особым дням. Когда безразмерная почта въезжала во внутренний двор, именинник выбегал на весёлый сюрприз, и дети подпрыгивали от возбуждения (как): *сейчас будут вафли и весело одетые люди!*

Случались всевозможные фантазии и отступления, но чаще писали с использованием простого карандаша. О чём они писали себе? Зиматы не хотели ничего усложнять, и все эти высокие слова, все эти абстрактные фразы, которые проскакивали у них в головах, они не брали с собой в разговор, но сохраняли для писем, и там уже описывали эти суровые генетические сны, охоту на эхо и как бог укачивается в собственной тени. Писали про фермерские дожди, под которыми можно было гулять с распахнутым ртом, писали про личные накопления – там, где мудрость копили и полноту. Так они говорили: есть «человек», вот туда и клади, а если перекладывать себя по разным местам, это будет ходить потом и говорить: *где же я, куда вы меня дели?* Люди перекладывали свою жизнь на слова, и у них вырастал некий внутренний индивид, которого они уплотняли этими мыслями из письменных бесед, и если проступал сургуч, это было заметно, когда проступил сургуч (на деле, в поступках, в печати), но этого старались не допускать – чтобы сургуч проступил.

Почтовые ящики – это были такие отсеки, куда люди опускали своё прошлое, заменяя его настоящим. Когда письмо уходило, прошлое закреплялось, как бессменная истина, из которой можно было идти, а потом он приходил к себе навстречу из других всевозможных людей – казалось бы, случайные совпадения, но вдруг он встречал человека, которого точно уже знал, и можно было разглядывать себя одновременно из нескольких жизней.

Почта выступала как дополнение к религиозному бытию: место, куда ходили, чтобы услышать свои голоса, место, где испытывали благодать, – это почтовое отделение. Там, где можно было «держаться» себя и угадывать план, и следить за его воплощением – через письма, посредством развития души. Лучшие фрагменты отдавали в музей, и эти музеи были по всему матерiku – там, где можно почитать старинные размышления и разгадать маршруты почтовых дорог, которые составляли зиматные почтальоны – работники миров и блуждающих сред.

Почтальоны считались одними из самых уважаемых жителей материка. Все они отчаянно любили ходить, все они ходили – иногда ходили по картам или ходили за примерами, но, бывало, они заходили довольно далеко, в несуществующие части материка, и этот навык был присущ любому почтальону как особенный дар – ходить по мифическим местам, умея не задеть невидимых существ, данных в огромном разнообразии.

* * *

Виргус не писал себе. Несколько раз он начинал что-то писать, но быстро прекращал, просто потому, что не мог вообразить человека, к которому он обращается. Это всё его слабость: даже слова проваливались обратно в немоту, и это странно, ведь когда-то он прочиты-

вал огромные количества книг, но становилось всё тяжелей, и он не мог удержать множественность значений, всё, что он мог удержать, – это личное слово. Любовь к языку превратилась в обязательность дел.

То, что он продолжал писать, это карточки на людей, которые умудрились почтить. Фотографии живых он забирал у родственников сам, а трупы снимала для него Фрея, реанимационная медсестра, и он никак не мог объяснить, зачем она приносит все эти печальные фотографии, ведь каждый хорин выдувался по прообразу жизни.

Она приходила по выходным, оставляла пакет, садилась в уголке или пекла какой-то пирог, стирала пыль, поливала цветок, оставалась на ночь, и всё это выглядело почти равноценным. Виргус не мог угадать, почему эта девушка ходит сюда: чтобы спать, чтобы печь, или для того, чтобы... Изредка он смотрел на неё в упор, и мелкие насекомые слов – это насекомые, что летали у неё изнутри, уходя за предел, уходя – и все эти полые таинственные пироги... *Почему ты приходишь?* – он спрашивал, и Фрея объясняла в ответ: *малые дела, малые дела, или мы оба принадлежим к драматической грусти*, но он не понимал, и снова эта слабость: не было сил остановить.

...Этим вечером опять забарабанили по звонку, и он пошёл, чтобы открыть. Виргус подумал, что это снова она, и он пошёл, чтобы открыть, но у двери оказались незнакомые люди. *Тут ли проживает мастер по стеклу, стекольный мастер Виргус Пиландер?* – *Да, это я. – Нам надо поговорить.* Он пригласил их войти, он сделал в печи новый чай, и когда они совершали гостеприимственные глотки, он наблюдал, как люди демонстрируют лица – это было спокойствие чужаков. Открытые трафареты имён как стеклянные буквы стояли перед его лицом, и у него забила гроза, у него проснулся истерики снег, и надо было стерпеть, успокоиться, ждать. Надо было дышать, подышать, надо было услышать, о чём они говорят, и вскоре он уже знал, что прямо сейчас, прямо тут расположено огромное событие его жизни, и эти люди по манере волхва, и этот чай, который весь уже заварился внутри животов... Вестники говорили, и Виргус менялся: *и птицы, и птицы; и птицы* – это то, что звучало как торжественный зов. *И птицы* – они звали его.

Когда-то, на отдалении лет, он начал вырезать больших драматических птиц: огромные стеклянные птицы, прикладываясь к человеческой спине, становились как человеческие птицы, как крылья вырастали у людей, и синие крылья. Наверное, волхвы увидели одну из работ. Они заказали большое количество птиц, и Виргус желал бы узнать их мотив, и зачем им потребовалось такое количество птиц, и гости сказали, что будет огромное представление, и мастер представил, как стаи слетятся в стеклянный театр... *И будет искусство... Создайте каркас для утраченных ценностей. И будет искусство... И вера, и доброта, и сочувствие, и милосердие – все они будут показаны так.*

Кто бы мог отвратить: стеклянные стаи человеческих птиц, и вера, и доброта... Кто бы мог отвратить? Но никто не мог отвратить, и Виргус подумал, что это, конечно же, шанс. Он может быть очень силен, он будет силен, он уберёт свою слабость, он всё поставит на кон, и будет поставлен спектакль, и люди увидят, что ценности живы.

И мастер кивал, и в ушах разрастались огромные звуки, далёкие звуки, как эхо неслышимых слов. Он запускал туда птиц, туда – в глубину гулкого будущего, он запускал, – и птицы летели, невырезанные, нераскрашенные – они улетали туда. *Вы принимаете этот заказ, вы приняли?... что-нибудь... Вы согласны?* И мастер кивал головой, как летел головой, и Виргус

улетал в прозрачное будущее, а рядом парили отряды невидимых птиц, из которых слагалось само небо.

* * *

Это был философ, брошенный в чулан, бедный, непопулярный, серенький источник волос, производитель кислотной слюны. Философ, которого снимали с запыленной полки выживания, чтобы просто поставить в пример. Это то, чем он зарабатывал на жизнь. Серые-серые глаза, драные волосы – *посмотрите, что может случиться от большого ума* – его показывали на занятиях, его демонстрировали как негативный пример: *вот, что будет, если вы пойдёте по этому пути*. И в иные моменты к нему подкрадывалась мысль, что это бедное торжество унижения самого себя – единственная участь, которая припасена для него, и это то, как философ мог реализовать себя с учётом текущих событий: пугалом стоять на виду.

Гилберта ставили, и он стоял. Он смотрел на них. Гудело, гугл. Это были такие подростки: когда у них заканчивались родители, они шли, чтобы искать себе новых. Подростки как характеристика людей. Они разрушат мир, и даже не поймут, что произошло. Люди, живущие так, как будто всё вокруг – большая эпидемия чумы, и моровая язва отъела им голову: они забывают про законы, про вежливость, сносят любые границы – только бы побольше урвать.

Это ходило в его голове, пока он стоял, и малые начатки зла, когда он удерживал себя, чтоб не стать новым злым, чтобы не сделаться бешеным, и надо было попробовать упрощать, но вскоре подступала эта несвежесть жёлтого волшебства, и его начинало сотрясать какое-то бешенство. Философа выводили как неудачника, и кто-нибудь перешёптывал за спиной: *жалкий, вы посмотрите, какой же он жалкий*, и пугало ел свой набор недоеденных зубов и вытягивал свои пальцы в остриё – чтобы злость свободно стекала по ногтям.

Он был философ – до кончиков ногтей, до злости, до опущения. Конечно, он не сразу утвердился в печальной своей судьбе: сначала Гилберт подумывал стать геодезистом, потом ботаником, но это были герои, на которых давно не хватало палат, здоровые люди такими уже не становились, но всё же его так и подмывало рискнуть, и вскоре после школы он поступил в институт по изучению духовных дождей, а затем перевёлся на «сомнительный» факультет, которым именовали философский, и полка пыли начала приближаться к нему с невиданной быстротой. Сам-то он был только рад. Гилберт жил, собирая старинные значения слов, складывая тяжелые медные мысли, которые поворачивали многие головы, – ключи, выброшенные на дно специализированных книг, – так он любил находить несуществующую дверь, которая появлялась, стоило только начать её открывать.

Как человек жил – в космической задумке самого себя, как он резонировал с современностью, и надо было уменьшить эти шумы, как-то приспособиться, но он не хотел приспособиться. Там, где надо было замолчать и посторониться, он продолжал говорить, но дальше уже было не смешно, дальше уже был голод. Стать тем, чем они видели его, – вот что он решил сотворить, и сложные слова – кто это говорит: *у тебя рот, что ли, болит, у тебя гуляющие зубы, у тебя внутренние зори?* – *Нет у меня ничего, ничего у меня нет!* Откуда-то неслись все эти мысли, и было ощущение, что он сидит в чужой голове, и это убитая голова, зарытая в косматых пещерах времён. Голова умерла, и всё вокруг мрёт: телефоны не оживают, тексты не оживают, и он сидит среди этих мертвяков – бешеный, невезучий, чудовище.

– Успокойся, успокойся, поспи, этот мир невелик, все люди сюда не поместятся, скоро тебя убьют или сократят...

Раньше он писал какие-то книги, работал на идеи, но всё это было в пустоту, как мысленный прах, и это то, что философ производил – непосредственный хлам, так он производил, а затем предприятие погорело: пришёл огромный недвусмысленный чих с обратной стороны бытия, и всякая мысль стала приравнена к пыли в официальном порядке. Так он оказался нигде.

Некоторое время он был нигде, а потом его взяли позировать пугалом, то есть показывать неудачника, и это походило на настоящий успех: из сотни зачморышей выбрали его одного. Чтобы не сойти от восторга с ума, он приносил с собой невидимый изолятор, и стыд не входил переменами в лоб, но иногда подкатывало к виску – жёлтое волшебство или убогое бешенство, что-то такое подступало, и хотелось ударить неудачника об пол, так, чтобы плёночка одна на поверхности. Такие плёнки – это люди, исключённые из мира.

Падало и гремело – это ощущение, когда обрушиваются миры, и всё летело, и малая тяга крепежа – какой-то удар, и вот оно – революция случилась: *как маленькие «умеющие» вытеснили больших «думающих» и убили их в себя.* Вечная жизнь была уничтожена, и в этот самый момент изолятор перестал ограждать его: вытошень появился, противный такой, и волосы катились по лицу, какие-то волосы, судьба по лицу, скользкие шаги: как он явился перед собой – драный философ, жалкий неудачник, лекционное пугало. И все они смеялись ему в лицо.

Люди смеялись – люди, потерявшие вечность. Он находил их в глубине своих органов, там, где они заседали, – в середине кишок, копошились здоровенным комком со всей своей глупостью, в разнообразии шкур, крутились в кишках, и Гилберт стал воспалён, и доктор ничего не говорил, но пациент уже знал, что у него страх. Страх, который он запустил, обычный страх – вот так собраться и сделать свою жизнь настоящей. Чего же он ждёт? Он ждёт, когда научится выносить из страдания яблоки?.. Не будет никаких яблок.

Надо исключить этот страх, надо дойти до конца, стать тем, кем они видели его, превратиться в ничтожество, как бы это... испарить себя... туман! Вот как они видели его мысли, и надо было стать этим целиком, воспользоваться конвертером – тем, что меняет явления на людей, и обратно назад: клавиши превращений на полу. Он сделал несколько шагов, и песня заиграла, тихая песня на незнакомом языке: *ну брениур ту и мар*, и испарение началось: так уходил философ с неугаданным именем, которое отваливалось по кускам – Гилберт, погибель, бррр.

* * *

Это была тугая земля, молитва о дожде, спадающая мелкими каплями дождя, – дождь или мысль, которая летает маленьким шариком, а когда врежется в человеческую голову, происходит такой еле слышный хлопок, и человек поднимает глаза, как будто хочет отдать свои невыплаканные слёзы, но тучи уже растворились, и крепкое серо-голубое небо космического рта замерло, пораженное солнечной бурей, которая не проходит веками.

Зимой воздух будто нарастал, пропитывался севером. Холод – это то, от чего становилось теплей, люди будто сами начинали себя обогреть. В воздухе томился куамин и куами-

новые вечера: в эти вечера лились густые-густые парафиновые сумерки, устраивались фестивали, и люди приплывали на лодках, чтобы послушать из воды, и жгли эти сумерки как свечу – маленькие огоньки светились из темноты. И летом, и зимой погода была похожа: ветер и пасмурно, лишь иногда зимой устанавливались мерцающие снега и выпадал лёд. Всякая погода была хороша, а лето воспринималось как мечта. В летние дни люди лежали на траве, пили парные облака, вытапливали взглядами небо и верили в растущее солнце. Погода – это был бог, как медленная мысль какого-то мудреца, погода – это настроение погодного ангела. Погода и ангелы – это то, что было частью большой национальной идеи зимат, имя которой звучало как «материк».

Для некоторых людей луна – это повреждение ночи, но местные жители были не из тех: люди любили их маленький зябкий уголок. И крики горячих цветов, запертых в красоте, орущих запахами, и спешащие им на помощь лёгкие влажные мысли людей. Всё было взаимосвязано: и время, и погода, и мысль. Дерево высотой в целую осень – нагромождение мягкости, разорванной по листьям. Западающая в корабление даль, рефлекторная, западающая даль. Подвешенный разговор или правильный флюгер. Седые устои, серые валуны. Грохот воздушных дроздов: когда они пролетали, люди начинали дрожать, и кто бы мог объяснить, что это за дрозды, но никто не хотел объяснить: сколько тут было явлений, претендующих на разъяснение, но все были сохранены в первозданном нетронутым виде.

В одну из ночей на небе загоралась огромная карта земли. Это было время, когда началась продолжительная темнота, которая окутывала людей, липла на фонари, и некоторые старались стряхнуть её с себя, включали яркие лампы в домах и долго старательно обсуждали луну, как будто придавая ей вес этими обсуждениями. Темнота забиралась в дома, и в некоторых случаях люди отрывались, перебегая в младенческую историю, а кто-то закрывал глаза и попадал в помещение дремоты, где можно было смотреть на оставленный в памяти лунный быт. Эти ночи были самые красивые: ночи, когда опадало лунное вещество. Ангелы в головах хоринов горели так ярко.

Виргус наблюдал это из окна. Мастер затапливал длинную печь и набивал травами металлический чайник, который ставил в чердачное отделение печи, и травы грелись на углях, молился огонь, и краткие крапинки рук переходили в долгое ощущение, которое поднималось из самого окончания ступней, останавливалось в районе живота и расползалось тонкими струйками по всей груди. Травяной человек глотал дым своего дыхания. Он вырезал крыло, потом обращался к голове, делал второе крыло и заканчивал на хвосте, очерчивая стеклянные перья. Потом мастер убирал остатки стекла, немного шлифовал и приступал к наложению первого слоя краски: синий он всегда накладывал руками, растирал специальной перчаткой. Когда немного подсыхало, можно было добавить бордовых теней, пальцами выдавить позвонки, покрыть закрепителем и отложить на окончательную просушку.

Он проводил рукой по стеклу, и вены сжимались в комок: близость случайного острия. Как он говорил: каждая птица – это хорин неразвившегося человека, зародыша человеческого или птицы. Руки, ощупывая птицу, принимают её форму, руки летят. Как море вспоминает снег, которым оно было, так человек вспоминает рождение. Он вспоминал его каждый раз, когда брался за новую птицу.

У Виргуса не было выходных. Он просыпался и шёл в полутёмную студию с маленьким окном, ставил около себя чайник, смотрел на стеклянный лист и видел, как она парит в его голове, – птица, которая получится из этого куска. Время от времени усталость подступала, и

страшно хотелось отдохнуть, но это обязательство – оно удерживало его: тысяча птиц, тысяча птиц, и Виргус постоянно чувствовал свои кости. Если он долго стоял на ногах, ноги могли отказать: слабость преследовала его.

Что-то стучало изнутри, иногда что-то стучало в него – болезни и страх, и он отвлекался, надеясь угадать, зачем оно там стучит, и какое-то предупреждение: может быть, следует прекратить? Что-то сквозило изнутри, интуиция отпадала и рыскала позади ума, дразнясь и укорачивая размышления, сбивала какими-то вспышками. Где-то он жил – в драме своего будущего, а впереди была победа, впереди было великое представление, и ему хотелось всё это описать, но каждое слово было как маленькое животное, за которое следовало отвечать, и тогда он описывал с помощью птиц: стеклянная культура или душа, стекло – это душа.

Когда-то мыслители зарабатывали шлифованием стёкол: приборы и телескопы оказались в цене, и эта стеклянная пыль убила немалое количество людей, но он не хотел умирать, он не был мыслителем и он не хотел умирать: он думал лишь побороть свою слабость. Небо – это константа, стекло – это константа, и он захотел быть устойчивым, чтобы не было ни единого узелка в его голове; но каждый раз, когда на мастера накатывала усталость, он думал о своих недостатках, и как ему не хватало сил просто на то, чтобы жить. Рохля сквозил во взглядах на мир, рохля, что он разводил возле себя, – и как удалить?

То, что он поставил на кон: он здоровье поставил на кон, годы поставил на кон. Что такое делать человеческих птиц? Это огромный жизненный механизм. К этому надо было привыкать, и он привык, и вскоре мир, простирающийся вокруг, выглядел так, будто бы люди с утра просыпались и сразу начинали вырезать человеческих птиц. Мастер забывал, как можно иначе, как получается жить. Снова и снова Виргус входил в мастерскую и брался за победитовый нож.

* * *

Он вышел из самолёта, и тут же зима окружила его плотным ледовитым кольцом, как будто предлагая бракосочетание, и *согласны ли вы*; зима, которую он хотел бы любить всю свою жизнь, и *можете поцеловать невесту* – маленькая снежная пыльца опустилась на поверхность его губ. На празднике были деревянные цветы – это сами деревья деревянные, это сами цветы. Он шёл по дороге и чувствовал, как внешние пальцы бегают осторожно по щекам, опознавая чужого человека, и Гилберт старался не вертеть. Вскоре прикосновения отошли: его приняли – так он почувствовал это: *меня приняли*, и тёплая мелкая дрожь, похожая на счастье, пронзила его целиком.

Всё тут расплавилось за людей: лес расплавился, вода расплавилась, небо расплавилось, и только гора, как карточный эгоист, притворилась декоративной – гора не расплавилась, она росла за счёт не востребованной материи, и если кто-то чего-то не успевал, значит, *гора уволокла*. Этот мир, явленный из миллиарда возможных мест, из каждой звезды, из каждого насекомого как сумма проекций всех жизней: пока эти жизни происходили, мир оставался красив.

Гилберт смотрел на этот снег, взгляды замерзали в узоры и возвращались к нему, падали на лицо, неслись по щеке; снег – это разговор: кто-то говорит, а другие должны помолчать. Снег. Гилберт стоял, прислонившись к холодной глубине снежного шёпота, и не было больше ничего: снег как оболочка для мысли, и только щёки немного разорвало – весь зимний туман забрался к нему в рот и грелся там, боясь выходить за предел. Сам человек не испарился в

туман, но поместил его внутрь. Снаружи оставался чистейший загаданный снег, и это то, как философ укрылся от бед, и это то, как он вывернулся, пытаясь раздобыть для себя немного умирания, но не целую смерть.

Вечер подходил к своему завершению, и Гилберт лежал у пространственного отеля, укутанный, лежал на припорошенной траве, исследуя нависающую высоту, где чёрный зодиак дымил огромными загадками пустоты, где бегали космические животные, резвился галактический кит, и человек сжимал свои скулы – только бы приоткрылось забытое дальнейшее зрение. В детстве он умел так смотреть, но почти не использовал это умение, думая, что животные испугаются его взгляда и убегут. Он верил, что свет как животное: стоит только спугнуть, и окажешься в темноте. Но все эти размышления были теперь позади: больше он не боялся туда посмотреть.

Полночь меняла календари, и Гилберт укутывал себя в тёплую оболочку луны, нёс на руках удивительный свадебный сон и пил его – бережно, только бы не пролить; каждая капля несла в себе содержание жизни. Гость засыпал, и ему снилась счастливая ночь на далёком материке, не отмеченном на множестве карт.

Утром он поднимался и шёл к перспективе воды, туда, где маневрировали установщики овец и на горах повисала гирлянда из оперных звуков. Гилберт наматывал мелодии на виски, и клетки начинали стучать, клетки оживали, словно маленькие сердца, и каждое сердце подрагивало, стоило скалолазу ухватить свою особую ноту.

Дальше он наблюдал из пещер. Рядом была теплота, и так надышали – жара, даже птицы вспотели – катались по небесам. Птицы катались по небесам, но Гилберт не бросился их догонять. Испарение – это новая стадия перемен. Он приехал сюда, чтобы стать как туман, и только начало получаться – откуда ни возмись этот снег, резко начало холодать; только он ступил на материк – и эта зима... То, что его спасло, – это зима.

Человек оседает и закуривает собственный пар. Что-то движется, возится около потолка. Гилберт присматривается, а там эти ангелы в фартуках, маленькие безобразники, смеются и готовят коллективное чудо, лепят из сырого вещества – из самой жизни готовят. Бережно заворачивая в лёгкие вдох, как сувенир, Гилберт внедряется в мистическую реальность, и он чувствует, как нищие воскресают у него в голове. Почему ему нужно уезжать? Почему он обязан вернуться в эти города, где философов закладывают под ковёр, забивают в углы?

Странник задавал вопросы траве, задавал вопросы деревьям, задавал вопросы животным. Мягкие места – то ли мох, то ли особое разрежение – здесь были такие места, где можно дотронуться до самого мира, контактировать с ним. Гилберт подносил туда ладонь, и маленькие комочки щекочащих существ садились на его тепло – многие насекомые тянулись в эти места, и люди тоже тянулись, чтобы потрогать удивительный свет, которым предьявлял себя мир. Несколько летучих кружат заползли к нему на линию жизни, и странник уговаривал их, просил их: *отдайте немножечко чуда, вот этого света...*

Как собака вынюхивает нужные травы, так и Гилберт искал простор для своей судьбы и, кажется, он нашёл его тут. Стоя на вершине холма, он забирал в себя мир – через мысли, и воздух продувал ему голову, большой керосиновый фонарь разматывал оранжево-чёрное тепло. Многие дома для людей – то, чторосло из низин. Дом как излучение жизни, он видел насто-

ящий цветовой дом. Цвет или дом – всё начало расплываться, и надо было скорее уточнить, где тут свободное испарение.

Он бы уточнил, но деревья хранили растительное молчание, травы хранили, изредка вылетал пернощёк, но никак не удавалось его расспросить. Как ему хотелось со всем этим говорить, как ему хотелось бы жить из каждой капли смолы, из каждого слоя земли. Вызвал ветер, и они понеслись: как он летел, избегая объятий маяков, страшных лап маяков, лампы – это лапы, и лампы охотились. Вот почему он подумал об этом сейчас: Гилберт не хотел умирать.

Здесь он был человеком, которому выпало испытать, здесь он начал обживать собственное я. Где-то стояли холмы, и он шёл на холмы, он встречал там отъявленных силачей, практикующихся в сворачивании гор, и он спрашивал, зачем им сворачивать горы – *чтобы сделать начало сезона равнин*, отвечали силачи, и он шёл, чтобы поспрашивать у других. Капитаны выгуливали природную воду в реке, пессимисты гоняли облака, лоббируя тучи, а философ продолжал придумывать всех этих людей, он придумывал целые сборища и города, никогда ещё ему не было так хорошо, как теперь: здесь пространство давало додумать себя.

Он ступал на причал, подходил к седому паромщику-судовщику и выпытывал у него: *парэ, каков мой таинственный путь*, и старик устремлял руку в самую высоту, где воспаряли конверты и строки писались на верхней, небесной стороне воздушного змея. *Напиши это, сам напиши и увидишь...*

Что бы он мог написать? Время пока не пришло. *Бреннур* – это всё, что он мог написать. И, может быть, кто-то выдаст ему перевод – через снег, через дождь, может, кто-нибудь сообщит?! Слово, что сидело у него в голове... Гилберт с нетерпением поджидал, когда же оно разразит себя, но что-то выступало помехой, и что-то доносилось издалека, какие-то звоны, какие-то топоры, и то, что помогало ему вспоминать... Дом с шерстяным потолком... То, что не оденешь как шарф... Гилберт – злодей... И корысть, и малые топоры... Надо идти напрямик и продолжать свою ложь. Всё это не ему: и озеро напрочь, и снег – всё это не ему...

Как преступник, философ спускался с горы, петляя и заматывая следы.

* * *

Вера в действительность была очень крепка, но здесь присутствовали и ангелы. Вот что зиматы говорили: когда человек переходит такой момент, что сам может держать свою судьбу, это значит, что у него открылось полушарие ангелов. Ангелы появлялись везде, и можно было наблюдать, как в полной темноте лежали тонкие волоски существ, и это были ангельские волоски. Мало кто работал над религиозным рефлексом, но люди верили, что можно включить над собой ангела, и он будет охранять, а чтобы включить его, надо представить себе невидимые действия невидимых существ, и это ощущение описывали так, как будто бог познаёт самого себя.

Священник или газовая книга – такого выбора не стояло у них. Люди на материке научились разводить себя как людей, но иногда к ним приходили различные существа, как бы предлагая увидеть их, и люди видели их, и это пространство кишело. Полуночь и полуночные животные всякие появлялись, горные кони-проходимцы, синие дальние мозы, каритоны и выскользны. На горах играли каменные музыканты. В городе кузнецы и плотники строили жизнь достаточно плотную, чтобы в ней хватило места для хорошего воображения. И некото-

рая странность обычаев, которая никого не удивляла. К примеру, рысь берегли. Берегли рысь, которую никогда не видели, берегли тепло, берегли эхо, когда собиралось эхо и шерстяные углы домов. А ещё иногда что-то такое происходило вокруг – словно сердце поднималось, и люди говорили, что вот оно, сердце поднялось. Оно поднималось так несколько раз в году, и кто-нибудь произносил: *вот опять сердце поднялось*, и больше ничего не происходило, никакого обычая – сердце и сердце.

Ангелы выделяли благодать. Словно образ готового человека, ангелы были постоянны, они служили свету и доброте, и им сыпали мелкие крошки от дел, чтобы можно было гордиться за людей. Кто-то говорил, что были времена, когда мир думали ангелами, а потом появился человек, но иногда эти проекции накладывались друг на друга. Ангелы светили из особых людей, а некоторые говорили, что любая высокая мысль порождает духовного ангела, и там, где люди думают исключительно о высоком, образуется ангеловидная масса, столько-то килограмм святости, и *как не тяжело это таскать над собой?*

Так они потешались, так они говорили: ангелы дают себя через дела, и в каждом поступке живёт обязательный ангел, мимика – это тоже ангелы, интуиция – это ангелы. Ангелы – перевозчики вечности, ангелы – раздатчики таланта и любви. Ангелы погибают, когда люди перестают развивать своё призвание. Ангелы входят в разговор как точка зрения, как ангел зрения. Ангелы – это информация, и все события – это ангелы-середнячки, а есть ещё тёмные ангелы, которых используют в быту и для создания примет. Тёмного ангела намазывают на бутерброд, делая поверхность из ангела, а ещё таких ангелов распыляют и сыплют по дорогам, чтобы люди не останавливались и шли по своему пути. Всё, что выходит за пределы материального, считается ангелом, даже лунные существа, даже явление ангела-храпела перед тем, как уснуть, – каждый участок спонтанно творит всевозможных существ.

Все эти существа жили закрыто, то есть жили в видениях, но приходил такой день, когда они показывались во всём своём очевидном облики, и можно было долго на них смотреть. Это был день, который называли стеклянным: ангельский день, дату которого необходимо было «нажелать». Стоило только снегу проявить себя, как люди начинали копиться в предвкушении особого дня, мыслями копились, как призывали, и вскоре этот день приходил. Снег заворачивался в причудливые шары, и эти шары усваивали структуру бытия, а потом показывали её – доля секунды на то, чтобы рассмотреть: снежная мысль мелькнула и тут же растворилась на руке – краткие ощущения мира.

В этот году зима упала прямо во дворе. Она лежала там белой историей снега, который томился далеко в высоте: снег вызревал, а потом он упал, и белые пейзажи, белые люди, белые графины с морозовым соком стояли на белых подоконниках. Весь материк – это была большая и снежная комната, стены из домов, снег, слетающий с потолка, и нарисованные облака, не выключив снега, продолжали заходить изнутри, и каждый человек мчался через зимнюю дверь, тайно меняясь по пути. Когда он выходил на другой стороне зимы, не было никаких следов позади, он выходил другим человеком, и сразу же попадал на заснеженную площадь, где на столбах многие говорители, и они шептали: *снег-снег, и ещё раз снег*, и сам он, падая, всегда произносил себя. Снег, который не умел промолчать. Кто-то услышал, приходил, чтобы помочь, но нужно ли ему помочь?

Снег становился королем, его описывали, его подзывали, и вскоре наступало это долгожданное утро, и люди надевали стеклянные шляпы, курили стеклянные трубки, несли стеклянные цветы, как будто играли в прозрачных и мёртвых людей, но так они демонстрировали

живых – убирала разницу между тем и другим. По пространству вырастали затемненные стеклянные дома, где каждый гость мог поставить секрет, как постановку и как секрет, и тут же раскрыть его. Чаще всего это выглядело как театры теней, но кто-то придумывал оригинальные формы разоблачений: писал на стекле или зажигал иллюминацию букв. Драм никаких не происходило, только малые исповеди, более-менее простые – это то, что они прятали в стеклянных домах.

Люди писали друг другу стихи, дети расхватывали стеклянных существ, и всё было таким северным. Хрустальные звуки закручивали в большие прозрачные фонари – оркестры не оставались, и музыкой светилось – лампы или северное сияние. Стеклянные шары, наполненные приметами явлений, словно банки с погодой – это то, что распаховалось в кульминации дня, и яркое многообразие мира возникало. Так заканчивался излюбленный праздник зимат, на котором встречались видимые и потаённые существа.

...Виргус уже не знал, к какой из этих групп он может себя относить. Утром он видел, как люди шли собираться, и он тоже пошёл, чтобы собраться, взял необходимый инструмент, сел на скамейку и начал вырезать сувенир, преимущественно, ангелов, но дети не брали их: ангелы казались им слишком печальными, и тогда он переместился на цветы, но цветы оставались непоявившимися. Кто-то похлопал его по плечу, и Виргус потащился обратно домой. Ни счастья, ни оркестра он не увидел на этом торжестве, лишь цифры летали, эти птицы и цифры – сделать до такого-то числа, успеть, покрасить, успеть...

...Это был день, когда у дома возник незнакомый человек. Он долго не начинал звонить, но потом они встретились около двери. Хозяин не знал, что и говорить, а пришедший смущался, как будто давил из себя языки, надеясь получить некоторый сок: *я давлю ради сока. – Вы поите безъязыкого друга?* Хозяин пригласил гостя войти, и они сидели в гостиной, поддавшись церемонии чай, и Виргус наблюдал, как он бьёт себя дико по волосам, бьёт по глазам – зачем этот тронутый заявился сюда?

– Я бы хотел написать внутри птиц... Видел о вас материал... Договорился с вон теми людьми... Можно мне тут немного пожить?

– Кто вы такой?

– Я философ, я приехал, чтобы написать внутри птиц.

Всё, что происходило, – это был сущий абсурд, но мастер показал ему дом, разрешил ему жить: хозяин очень устал. Он был уверен, что это вымысел, бред, что это временное существо, дикий фантом, но Гилберт всё никак не рассеивался, и вскоре он привык находить его в мастерской, стало даже как-то повеселей. То, что они говорили, – эти взгляды имели большие совпадения, и общая атмосфера речей. Виргус как-то ободрялся, и птицы становились немного живей. Правда, не давала покоя запрятанная гора – то, как философ упорно не показывал гору, носимую за душой, и этот камень давил его: видно, что этот камень давил его, но он отмалчивался. И редко когда начинал говорить, что-то такое про умных людей, тех, что без средств к существованию бывают способны на самое страшное.

Виргус не знал, как это можно понимать. Время от времени он заставлял философа лежащим на земле, и тот будто вдавливал себя. На все попытки его приподнять он только отмахивался: *оставь, мне надо подготовиться к этой войне.* Какая ещё война? Хозяин оборачивался спиной и двигался обратно к мастерской. И дальше философ почти уже не ходил на покраску,

но мастер не думал его прогонять. Что-то нависло над ними: как раньше эти люди летали в отдельных шарах, но потом они оказались в одном, и словно стеклоросло.

Как им удастся уйти? Через финальное чудо. Пока же они призваны ждать. И хозяин сидит у предела печи, а философ внедряет свои мысли в стекло, и только снег продолжает идти за окном, снег идёт и идёт, как будто кто-то тихо переворачивает шар.

* * *

Зиматы разводили не только овец. Было тут и кое-что ещё. Там, где начиналось невидимое, там жили ангелы, но там жила и смерть: люди накидывались на неё и сразу же говорили: *дружище, привет*, звали на различные торжества. Сказано было: люди прорастут из небытия, и все будут смертные. Смерть, которую они уважали как единого предка. Попасть на материк можно было только через рождение или через смерть, и виртуал ритуальный тут не проживёт, и идеалист маневренный тут не проживёт. Погода и смерть – это то, чем они отгородились от остальных. И если погода сразу же давала о себе знать, то смерть окутывала приезжего постепенно, и где-то он останавливался и кричал: *это же смерть, вызовите бригаду ликвидаторов!* Но только улыбка со стороны.

Каждый зимат был мастером в умении жить, но и в умирании они находили немалое поле для творчества. Люди входили в такое состояние, пограничное жизни, и только так удавалось сохранять установленный ход вещей. Где-то говорили, что смерть – это стыд, и надо поскорее зарыть, но здесь её выставляли напоказ: на полках стояли баночки для смерти, это же сосуд для души, люди подходили, чтобы постучать, и если там была душа, они могли услышать вот этот звон. Звон, который выпускали в хорин, когда человек умирал.

Смерть; и дети играли с китом, отрезанная голова лежала неподалёку, и малыши в резиновых сапогах бегали по красной воде. А одна девочка привела на урок живую овцу, убила её и разделала прямо на уроке, а другие дети учились. *Это жизнь, и стоит ли её прятать? Все едят мясо, и мы едим мясо*, так они говорили, и головы овец в супермаркетах, мимика и замороженный мозг – это же едмое, еда, то, что смотрело из зелёновости холма, бегало, спасая своего ягнёнка, и собеседник понятиливо кивает: *да, конечно, животные очень милые, но надо же что-то и есть*.

Вот она, тайна материка: переизбыток жизни, который нужно было всё время уравнивать. Жизнь была явлена тут так широко, жизнь была дана всей окружающей средой, этим океаном, травой, решительными иглами скал, и надо было с самого раннего возраста учиться примыкать к этой среде, где жизнь и смерть идут рука об руку. Здесь было такое количество жизни, что смерть не могла вызывать испуг, и можно было дружить с ней, можно было жить с ней, можно было давать её детям поиграть.

Люди ходили, натываясь на выступы поездов для самоубийства, и каждый мог решить, надо ли покупать билет. Эти поезда ходили несколько раз в год, и всякий раз кто-нибудь оказывался внутри. Каждый из этих поездов должен был проехать все тоннели материка, прежде чем упасть с высокой скалы, и не было шансов на то, чтобы человек уцелел, но поезд оставался невредим, и можно было использовать опять.

Все эти тоннели, через которые ходили поезда, ездили автомобили, все они были хороши не только для перевозки смерти, которую разносили в корзинах огромные существа, – эти тоннели были *как пропеты*, весь материк был прошит этими глубокими горлами, и каждая тон-

в-тон-пропетая-дыра несла свою музыку. На стадии закладки вызывали скалолазов-певцов, и все они пропевали тоннель, а ещё проделывали голосом отверстия в потолке, и получалась огромная флейта. *Будете ли вы играть на тоннеле сегодня?* Каждый раз, когда внутри катился автомобиль, каменная флейта играла, и сказочная световая игра от фар несла зачарованного путника в корзину к собирателю тупиков.

Зиматы прорыли тоннели и привели сюда смерть, выставили стоять перед каждым заездом, и люди как будто въезжали в *тот свет* – и было в этом что-то эсхатологическое, так люди заигрывали со смертью. Кто-то говорил *переезд*, но другие боялись: а вдруг там и правда тупик? Столько было легенд об огромном погроме, что собирает тупики, как яйца в корзину закладывает, чтобы выращивать кризисы, и это было похуже, чем старая добрая смерть, и смерти не боялись, но опасались чудовища с корзиной из тупиков. Не так чтобы испытывали мандраж, но некий подстраховочный страх: все же знали, что беды никакой не произойдёт – если вы истинный зимат, беды никакой не случится. На чужих, правда, эти прогнозы не распространялись, и тут уж каждый должен был отвечать за себя сам.

* * *

Почти в каждом городе работала общественная столовая, куда люди приходили, чтобы поесть. Раздатчица была очень добродушная женщина, но иногда на неё нападала апатия, она накладывала еду и говорила как будто в никуда: *все мои особенности поедаются людьми, все мои особенности поедаются...* Так она говорила – всегда одно и то же, и Гилберт однажды не выдержал, взял свой обед и спросил: *а какие у вас особенности?* Женщина остановила на нём взгляд, и они простояли так несколько секунд в ожидании её слёз, которые он хотел пить, чтобы довести до конца сюжет её тоски, но она вдруг начала резко смеяться: *я весёлая, я хорошая, вот мои особенности*, и Гилберт тоже смеялся, а потом он отложил свой обед и пошёл оттуда вон.

Эта злость, которая начала прорываться из него... Злость или боль? Боль – и прижечь бы антибиотиком. Он ходил и нанизывал на себя зло, он собирал его, производил и обматывал вокруг себя. Может, ему попробовать опять – вернуться туда, дёрнуть себя за виски? Кто его враг? Реальность – это враг. Это единственный враг – тот вид реальности. Как он боялся оставаться рядом с врагом, и страх, он сгущался в нём, тот страх, что кто-то чужой ходит по его жизни и выглядывает из его глаз. Что-то такое происходило: он сидел в своей комнате и его кусали вещи, к нему приходили окна, и он не знал, куда ему деваться, никто не мыслился виноватым, но реальность была враг. И Гилберт пытался говорить:

– Сознание, вот что у меня болит...

И где был его враг? Как его отличить от остальных? Может, это великан, который стоит на вершине горы, может, он даже человек, но это человек с таким большим непередаваемым будущим, что оно выдаётся вперёд и он раскачивается, стоя на вершине горы, и нет перспективы удачно его рассмотреть, но то, что он даёт наблюдать, это зубы, которые растут у него по самому телу, как панцирь из зубов: он ест всем своим существом, он кусает и жуёт этот мир.

Не было такого существа, не было никого на горе. Не было символа врага, но и не было символа бога. Прошлая сцепка уже не работала.

То, что он видел там, это был белый твердеющий ком, и, чтобы разузнать, надо было подойти, и когда Гилберт подошёл, сомнений уже не осталось: это был зуб – огромный решительный зуб, который имела на него эта реальность: *когда человек лишён шанса жить в разви-*

том состоянии. Он уехал, но что-то волочилось за ним – это был зуб, и это был лось, прошлые конструкции мира (это «-лось»). Именно поэтому он хотел испарить себя, память испарить – уничтожить ту память, привязанную к объективной реальности.

Злая пружина внутри продолжала свой рост. Как он пытался укунить свои ноги, укунить свои волосы, только бы проснуться в это пространство материка, где овцы развешены по холмам как бытовая гирлянда, где живописные склоны, синие туманы – пространство, которое помогало заживать. Всё заживало в нём – только не ложь, только не обман. Мерзость не могла заживать. Стыд – это то, что он испытывал по отношению к этому матерiku. Тонкий булавочный стыд: лицо его кололо и ныло изнутри, и *почему я такой уродец, почему я уродец?* Птицы шипели в ответ. Трава, и уродец посередине травы. Он стоял там, пытаясь себя предъявить. Он ходил к этим зонам, где можно контактировать с миром, он стоял там, но насекомые не принимали его, небо не принимало его, люди не принимали его.

Сверху была луна, а внизу были лунки для желаний, и в это можно было играть так – живя. Всё живущее приспособлено для того, чтобы попасть в свою цель. Где же лунка для него самого? Будет ли он крот или он будет развлекать?.. Только бы найти свою годность... Годность – погода – то. То, что годится. Дождь – это годится, снег тоже годится, а Гилберт? Годен ли он, пригоден к чему-нибудь?

Пар от его жизни облаком висел над головой. Туман ползал под его ногами, как больное животное, и везде была длительность – так он раньше предполагал, но потом он увидел, что длительности вовсе и нет, есть одна мгновенная ежесекундная сила, которую люди вкладывают в себя, чтобы тянуться вперёд. И он тоже попробовал вложить, но длительность использовала привычные аргументы: *счастье для тебя пока не готово, оно разобьётся*. Каждый человек как змея, как свёрнутая возможность героя. Жизнь может проснуться всем космосом, а может остаться недостижимой – надо подождать, подожди.

И Гилберт шёл по туману, он чувствовал, как осыпаются волосы, течёт кожа, выпадают зубы – мир, мысли о котором он так усердно испарял, возвращался назад, и странник начинал пить, проваливался в круг. Звенели бездны. В небе шла огромная примерка облаков, но он не смотрел на облака, он не смотрел на воду, он не имел права смотреть. Он был мистически саботирован. Локти скал выступали как древние угрозы. Алкоголики как способ отказа от себя, но он просто заходил, чтобы увидеть, кто его враг, увидеть и бежать от него, убежать так далеко, чтобы даже ангелы не могли отыскать.

Но ангелы были везде, воспоминания не покидали его. Оставленный извлечься из самого себя, Гилберт слишком приоткрыл входное отверстие, и старый мир начал пробираться своими корнями в мозг, и он чувствовал себя бедным, пустым, кривогорбым, каким-то вываленным, маленьким, незначительным. Вот он полетел, улетел, вот он успокоился, и белая борода, белая крыша, дом, который он никогда не любил, – ангелы ходили за людьми по пятам и вкладывали эти воспоминания в хаос.

На островах человек мог выбирать себя и не себя, жить из разных людей, и специальные макеты – сайты, на которых можно было рассматривать всевозможные жизни, как будто жить из некоторых людей. Считать себя собой было непростой операцией: за «я» приходилось бороться, вокруг было множество я, и как из них выбирать, и всякие попытки размножения оборотней – никто не замечал этой слабости и этого неумения найти себя и держать, и Гилберт тоже не замечал, пока он не приехал на материк. И здесь все эти люди полезли из него. Вывод,

который он надавил, был уже на подходе. Реальность – это враг, и однажды ты окажешься на материке, зайдёшь в этот туман, и найдёшь там действительную реальность, из которой получится жить. Те самые крошечные материки – пространство для развития: как раньше приезжали в монастыри, так теперь надо ехать на материк.

И можно было теперь ликовать, осталось ликовать, и он пошёл в то самое место, где ангелы любили между собой ликовать, и он ликовал вместе с ними, устраивая лики над головой, выделявая из рук. Старая рутина сидела там, старуха, битком набитые виды, и синяя будда, которую он ловил на внутреннего червя, свернутого в бесконечность как знак. Под кустом бегали многие ножки, но тел самих не было, и что-то росло – то ли мох, то ли это нарастали мурашки, и всё было как мурашки. Ангел – чистейшей фантазии выдумка. Философ – это выдумка. На скалах сидели птичьи щёки. Он смотрел на себя через ангелов, и он не видел себя, но ангелы продолжали прибывать.

– Ты, ангел, помоги! – крикнул он невидимому существу.

И что-то говорило с ним. *Бреннур* – ангел подержал это слово внутри и протянул человеку совет: *неси его старому смотрителю*, и Гилберт побежал, и там сидел укоснительный человек, прямо на башне, он говорил: придумай другую концовку, измени, измени очевидный финал. Если провалишь – никогда уже больше не попадёшь на материк, и всё это сотрётся у тебя в голове. Согласен ли ты победить?

– Я не могу отказаться. Я должен победить.

И старец протянул ему слово, превращенное в заклинание.

* * *

И мастер взваливал стеклянное бремя на плечо и нёс в просторную тёмную комнату, и нервы тряслись, и руки, куда бы положить руки? Пошёл в ванную и вымылся, съедая волосами шампунь, потом вернулся к печи, прошёл мимо мастерской, и там к нему что-то прижалось – болезнь хотела прижаться, но он оттолкнул её. Спал или стоял у огня. Кажется, покачивался. Стены восставали изгибами, кривой потолок, затопивший окно, и можно ли выпить окно? Что-то, напоминающее бред.

Всё было хорошо – сперва всё было хорошо, но потом силы начали уходить. Это просто мелькнуло в виде предупреждения, мелкие катышки желаний были сметены, всё стало гладким, и везде были птицы, но слабость не хотела уходить. Тонкий ознобный смех вселялся в него, и он звенел как больное знамение, ходил за порог и высмеивал овцу. Малые твари садились на его слабость, как стеклянные короли, и пировали там. Руки обвисли тяжёлыми проводами, руки горели, плечи заходили в тупик – слабость продолжала наступать, и эти страшные-страшные дни: каждое движение причиняло нестерпимую боль, видимо, слабость была как симптом, но самое противное – это тяжесть, которая росла в переносице лба.

Снова и снова он обрушивался на стеклянные листы, надеясь, что ожившая птица родится в его руках, но птица являлась погибшей, как тонкая хрустальная культура была погибшей, и где же скрывался пилотолог? Все эти выкрики из стекла, словно выстрелы. И как они покусались на самое дорогое, как эти люди посмели его отвратить? Рутина как увеличительное стекло: он чувствовал себя машиной, птицы больше не были одухотворены, они не умели летать. Есть то, что невозможно сделать автоматически, оно требует жизни, и Виргус-машина

встала на закрытые пути: перекошенные головы, вывернутые клювы, опавшие крылья – вот то, как проявлялось его мастерство, и всё, что теперь он хотел, – сдать этих чёртовых птиц, вернуть свою нормальную жизнь. И мог ли он вернуть?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.